

О том, как экономил на трамвае в Берлине и руководил строительством опытной оранжереи для немецкого Института мозга

<https://oralhistory.ru/talks/orh-490-491>

4 августа 1975

Собеседник

Тимофеев-Ресовский Николай Владимирович

Ведущий

Радзишевская Марина Васильевна

Дата записи

Беседа записана 4 августа 1975 и опубликована 2 мая 2017.

Введение

Шестая беседа с Николаем Тимофеевым-Ресовским посвящена переезду в Германию в 1925 году и обстоятельствам создания генетической лаборатории в Институте изучения мозга Общества кайзера Вильгельма в Берлин-Бухе. В Германии тяжелый экономический кризис. Тимофеев, руководитель научной лаборатории, взял займы у своего учителя Н.К. Кольцова крупную сумму, постоянно экономил, а для того, чтобы сходить на выступления боксеров — бегаёт на работу трусцой, экономя на трамвае. Завершает беседу рассказ о формировании отдела генетики и строительстве специальной опытной оранжереи для будущих генетических экспериментов научного коллектива Тимофеева-Ресовского.

Марина Васильевна Радзишевская: Пожалуйста.

Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский: Сегодня я вам расскажу часть того, чем я занимался и как я жил за границей, где я прожил довольно долго, побывал в самых разных странах и, как всегда для простоты, отвечаю: в Европе не был в Португалии, во всех прочих странах, включая микространы, был. Вот. Я прошлый раз, по-моему, сколько помнится, говорил, что в Москву с 23-го или 24-го года время от времени приезжал Фогт, знаменитый невропатолог, невролог и мозговик, создавший учение о анатомической, то есть, собственно, гистологической и физиологической архитектонике полушарий большого мозга.

Он сперва принимал участие в лечении Ленина, потом после смерти Ленина возник вопрос об изучении мозгов ленинских. Для этого было решено в Москве мозговой институт специальный устроить, который должен был и другими проблемами изучения мозга заниматься, но в основном в этом институте должен был храниться, препарироваться и изучаться мозг Ленина. И вот после смерти Ленина уже в 25-м году Фогт снова приехал в Москву и попросил Кольцова, которого он хорошо знал и в институте которого (в котором и я состоял) он бывал в каждый свой приезд, и Николая Александровича Семашко он попросил порекомендовать ему русского, молодого по возможности, генетика, так сказать, уже более-менее сформировавшегося, так как он собирается у себя в Kaiser Wilhelm Institut'e в Берлине¹ организовать лабораторию, а потом, может быть, целый отдел генетический, так как он интересуется рядом генетических проблем, связанных с мозгами всяческими и с высшей нервной деятельностью. А кроме того он, Фогт, крупный специалист по шмелям, так сказать, по систематике шмелей и, в частности, по изменчивости шмелей, которая очень сложна, очень интересна, очень обширна. У Фогта крупнейшая тогда была в мире коллекция шмелей. И он хотел и к изменчивости, в особенности географической изменчивости шмелей как-то подойти с современной генетической точки зрения.

¹ Институт, которым руководил Оскар Фогт, назывался Institut für Hirnforschung der Kaiser Wilhelm Gesellschaft für Forderung der Wissenschaften — Институт исследования мозга Общества содействия наукам им. кайзера Вильгельма (нем.).

Уговоры

А в Германии подходящего генетика в то время не было. В 24-м, 25-м году молодежи генетиков не было: ну, буквально, был Курт Штерн вот... и все. Несколько еще молодых генетиков подросли, так сказать, и сформировались на год-два-три позже. А тогда еще не было. А все более или менее известные генетики были известны, уже пристроены, и Фогту в качестве, так сказать, организаторов сперва небольшой лаборатории, конечно, не подходили². Они были уже известные и знаменитые люди. Всякие — Корнс, Бауэр, Гольдшмидт, Хартман — это все были уже крупные классики генетики. Так вот. Семашко, со своей стороны, обратился к Кольцову. Как я в прошлый раз уже, кажется, говорил, Кольцовский институт, наряду со всеми московскими научно-исследовательскими институтами естественно-историческими, объединялись в ГИНЗ — Государственный институт народного здравоохранения, возглавлявшийся Семашкой. Так вот, Семашко попросил Кольцова, так как он знал, что у Кольцова уже организована генетическая лаборатория, которая прекрасно работает. На двух биологических станциях института, о которых я вкратце в прошлый раз говорил: на Звенигородской гидрофизиологической станции и на Аниковской генетической станции велись генетические исследования как и на дрозофиле, так и на курах, и еще на кое-каких объектах. Вот Кольцов должен был порекомендовать Фогту такого молодого генетика, но которого учить уже не надо было, а который мог бы сам организовать там лабораторию генетическую и обучить генетике пару молодых человек.

И вот Кольцов почему-то, значит, выбрал меня. Ну, почему?

² В те годы в Германии работали крупные генетики, например, Э. Баур и Р. Гольдшмидт со своими школами. В других рассказах Н.В. в качестве причин «импорта» русского генетика фигурировали сложный характер О. Фогта и его нелады с генетиками в Германии.



Потому что, наверное, из своего поколения я тогда был, пожалуй, наиболее самостоятельный уже молодой человек.

У меня было пять работок: четыре небольших и одна большая, напечатанные или в печати уже... Затем, я вполне прилично знал иностранные языки, а немецкий язык совсем хорошо знал, немецкий и французский. Английский похуже. Но в Германии на первых порах мне английский был ни к чему. Достаточно было французского и, в особенности, немецкого в Германии, так? Немцы привыкли разговаривать по-немецки. Вот все это, наверное, и заставило наметить меня в качестве такого, значит, рекомендованного русского сотрудника для немецкого фогтовского Kaiser Wilhelm Institut'a в Берлине.

Я сперва сопротивлялся. Мы с Еленой Александровной, значит, с женой, жили мирно, но довольно подвижно в Москве с окрестностями, мотались по гидробиологическим экспедициям, работали с дрозофилой, родили (преимущественно жена, конечно) сына старшего, названного Дмитрием, но прозванного почему-то (я уж забыл почему) Фомкой³. Так он до самой смерти Фомкой и остался, который потом, об этом я упомяну, погиб в нацистском лагере в Германии, был убит. Вот. И нам неохота была ехать в Европу. Елене Александровне моей, ну, просто, по-видимому, из-за консерватизма и потому что она очень была довольна жизнью здесь. А мне еще особенно потому, что я за границу знал с детства очень хорошо: я с родителями по заграницам всяким таскался каждый год в качестве старшего из своего поколения. Так что я уж по всей Европе поездил, все достопримечательности европейские, северно-африканские знал, средиземноморские и так далее. Так что меня, так сказать, не тянуло на басурман как таковых. Бог с ними! Я их знал.

³ Дмитрий Тимофеев-Ресовский родился 11 сентября 1923 г. Прозвище Фомка возникло по юмористической фольклорной песне о двух незадачливых чудаках Фоме и Ереме, которую любил петь Н.В.

И кроме того у меня тут начались все разрастающиеся экспериментальные дела. Увлёкся я возможностью, так сказать, воссоединения классического эволюционного учения — дарвинизма с современной генетикой, затем с биогеографией и с биоценологией. Одним словом, всякие такие общие идеи бродили.



Мне резонно казалось (я и до сих пор в этом убежден) что для развития этих дисциплин лучшего и наиболее подходящего места, чем наше обширное отечество, нет на свете. Да и люди тогда у нас были подходящие по своим интересам, по своему образованию, несколько старшего поколения, чем я.

Да и в моем поколении намечалось несколько человек, которые могли бы вполне заняться этими делами. Так что меня тоже не тянуло за границу.

Но меня уломали Кольцов и Семашко главным образом тем аргументом, что обычно, перед революцией, да и вот теперь, когда начала налаживаться связь русской науки с заграницей и когда в командировки заграничные начали выезжать советские ученые, обыкновенно русские ездили учиться чему-нибудь за границу. Либо поработать у какого-нибудь знаменитого профессора и усвоить его, значит, направление, либо освоить кое-какие новые методы исследования различные, либо ознакомиться с какой-то аппаратурой. Одним словом, ездили, в общем, в широком смысле слова, учиться. Иногда методике и методологии преподавания тех или иных научных дисциплин. А меня приглашают не учиться, а наоборот, учить немцев, что это, мол, случай такой выдающийся. И Кольцов, и Семашко меня уговорили. И мы решили поехать. И, я уж забыл точно, кажется, в начале июля, значит, решено было нам ехать.

Предотъездные проблемы

Ну, тут не обошлось, конечно, без некоторых таких комических штук. Мне Фогт предложил оплатить мой переезд в Германию. Я же был настроен барственно. Эта барственность, особенно финансовая, во мне сохранилась и до сих пор, даже когда у меня денег уже нету никаких, израсходовались все, я все-таки стараюсь жить барственно. Так, конечно, отказался. С какой стати немцы мне будут дорогу оплачивать, я решил! Я сам с усам и оплачу себе в лучшем виде дорогу и без них. На черта они мне нужны! Раз я переезжаю туда работать, жалованьишко они мне будут там платить, а не тут. Так? Вот. Значит, отказался.

Фогт предложил, что он кого-то там из своих сотрудников помоложе настропалит подыскать нам поначалу меблированную квартиру в Берлине и так далее. От этого тоже я отказался, гордо заявив, что в Берлине, так же как и в других столичных городах, у нас с Еленой Александровной достаточно знакомых, приятелей, даже родственников есть, которые нам все это оборудуют. Одним словом, достаточно снисходительно, но с благодарностью отказался от всяких, значит, басурманских помочей.

В общем, это потом нам, конечно, в копеечку влетело, потому что для того, чтобы барственно переехать, так сказать всем, хоть и маленьким семейством, в Берлин, оказалось, что, во-первых, нужно одеться и обуться. Дело в том, что у жены еще какие-то старые перешитые платья были, ее старших сестер, матери и так далее. У меня же к тому времени были бывшие когда-то синими, очень старые казацкие полугалифе... Что такое «полугалифе» вы знаете?

М.Р.: Галифе знаю, а полу...

Н.Т-Р.: А полугалифе тоже самое, только наверху менее широкие. Галифе — такие в бока расширяющиеся штанцы. Затем, так называемые танки. Когда-то я, в гражданскую войну еще, отбил у белых пару английских военных сапог, то есть не сапоги, в нашем смысле слова, а до самого колена такие башмаки, шнурующиеся, но без разреза, а со складкой, так что они шнуровались и можно было как в сапогах по воде ходить: вода и грязь не пролезали внутрь. Вот. Они назывались «танки».



Танки тогда только появились на свете. И вот в честь сего оружия и эти башмаки, которыми человека вполне можно было убить, взявши такой сапог в руку и стукнув по башке, назывались тоже танками.

На железных подковках. Это уже я их оборудовал железными подковками, чтобы они вечно служили, потому что я надеялся, что они мне аж до самой смерти прослужат и одного приятеля тверского, сапожника заволжского, где я работал после революции одно время, в Тверской губернии в одном из первых совхозов (а там сапожные мастаки были, всякая такая вещь), так этот сапожник мне... не железными даже, а стальными гвоздями подошвы все оббил, так что, вообще, им не предвиделось и сносу. А подлатывать, чистить в Москве я доставал касторку.

Сперва, в голод, на касторке мы жарили картошку (тогда я ел картошку), а касторка, как известно, в пережаренном виде теряет свои медицинские свойства и от нее не несет, а великолепный жир, на котором можно жарить картошку или еще что-нибудь и есть с удовольствием, по тем временам. Она и касторочный такой дух теряет при этом, особенно ежели еще какой-нибудь травки бросить, луку, или укропу, или еще чего-нибудь. Вот. А потом мы перестали жарить на касторке, а касторку добывать было тогда легко, и я танки свои смазывал регулярно, еженедельно касторкой. От этого они были совершенно водонепроницаемы и... касторка, она токсична для всяких гнилостных бактерий, поэтому они не гнили, не загнивали, ничего с танками не делалось.

Вот, были у меня полугалифе... ну, из такой одежды, которую можно считать одеждой, полугалифе были, танки были, были довольно приличные остатки гимнастерки защитной. А остальное было все самодельное, послереволюционное. Из какой-то старой Лелькиной юбки мне были штанцы сшиты, именно штанцы. А юбка была так называемая посконная. Посконная ткань — это ведь замечательная ткань, это в полосу такую, значит, холст, холстина такая посконная, деревенская. Вот у меня были такие посконные порты, затем были штанцы совершенно, так сказать, неправдоподобные, неизвестно из чего они сделаны

и когда были сделаны, и затем несколько рубах русских было. Я таким образом бегал все лето, конечно... где-то у меня даже есть фотография с совершенно — вот такого размера... ну, не новорожденным, а годичного, наверное, возраста сыном, этим Фомкой: я на корточках сижу, обросший бородой, на Звенигороде, на Звенигородской станции вот в этих посконных портах и в рубахе. Вот. И ходил я босиком все лето и весь... Я уж вам говорил, что мы на станцию или в экспедицию уезжали в половину мая и возвращались в начале октября. Значит, вот эту сравнительно теплую половину года я проводил честно босиком, потому что на вольном воздухе и вне пределов Москвы и научных институтов ни к чему было обуваться: одно разорение, не удовольствие.



Н.В. Тимофеев-Ресовский со старшим сыном Дмитрием (Фомой). Звенигород. 1924

А зимой во время революции оказались... и после революции оказались совсем не бесполезны божьи старушки, такие божьи одуванчики. Им жрать нужно было, старушкам-то, и они выдумали себе ремесло: из всяких обрезков, как бумажных (бумажных, в смысле материи, а не бумаги писчей), так и шерстяных они сшивали такие длинные узенькие ленточки, а из этих ленточек (нарезали их на такие, примерно, аршин длины) плели лапотки. Как лапти плетутся, так они лапти бумажные и шерстяные плели. И вниз, на подошву... тогда можно было найти на Смоленском рынке, например, и так далее, шпагаты, мотки шпагата, и из шпагата, из веревок, плели опять-таки подметки. И получались такие лапти на веревочных подметках. Совершенно замечательная обувь, удобная, она расползалась по ноге. Даже не надо было, значит, очень уж точно подбирать величину... *(Видя, что Радзишевская пытается уклониться от летающих ос, говорит)* Она улетит.

М.Р.: Говорите.

Н.Т.-Р.: Вы очень боитесь ос? А пчел тоже? А шмелей еще больше?

М.Р.: Одинаково.

Н.Т.-Р.: Одинаково всех. Понятно. А шмели, вот те, действительно... Ведь считается, что семь укусов шмеля, более менее одновременных, смертельны. Вот. А три укуса — это уже тяжелое заболевание, температура поднимается, вроде укуса гадюки.

М.Р.: Ладно, вы меня не агитируйте. Вернемся к делу. Я и так боюсь *(смеются)*.

Н.Т.-Р.: Так вот, зимой я ходил в остатках таких революционных лаптей. Очень удобно, ноги не мерзнут. Да я, вообще, как-то не мерз никогда особенно, но человек был обмороженный уже в гражданскую войну, все, что обморозиться могло — обморозилось: и ноги, и руки, и тут вот полморды, так что как-то приобвык.



Но ехать таким образом за границу, сами понимаете, нельзя было, потому что, по достоверным сведениям, у нас имевшимся уже, за границей люди живут так же, как мы жили до всяких революций и гражданских войн, то есть интеллигенция живет интеллигентно, одевается в интеллигентскую одежду и всякая такая штука: брючки, значит, штучки всякие, пиджачки и прочее носят.

Вот. Значит, возник вопрос. Лельке проще, потому что ей было сшито, опять-таки из каких-то старых платьев старших сестер и мамаш и двух теток, какие-то так называемые парадные платья. Это все оказалось ненужным, значит, багажом, потому что оказалось все не по моде и чрезвычайно смешно выглядело за границей. А мне-то хоть что-нибудь надо было. Поэтому мне Лелька приобрела на Смоленском рынке серую рубашку с отложным воротничком и галстук какой-то, плетеный из чего-то. Ужасная какая-то штука была! Вот. Затем приобретены были двое трусов за очень какую-то большую цену на Смоленском же рынке. И затем был найден портной, который согласился из какого-то огромного старого плаща Лелькиного дядюшки одного мне сшить костюм: тройку пиджачную и даже с жилеткой. Все точно промерил, немножко там ежили куда-то что-то из другого места подставить, то получался как раз пиджак, брюки и жилетка. За какую-то приличную сумму это было сделано.

Правда, очень быстро, еще по дороге в Германию, оказалось, что материал непригодный совершенно для укустумчиков, потому что на локтях и на коленях такие шары образуются. Растягивается материал и сколь его ни гладь, все равно получается нехорошо. Но это черт с ним! Во всяком случае, брюки и пиджак был. Затем... дело в том, что у нас дома за революцию все обширное наше семейство все съело, что было: никаких ни шляп, ни шапок ни черта не осталось, ни обуви никакой. Но остался, правда, пережил революцию парадный летний, к сожалению, а не зимний, студенческий мундирный китель белый с золотыми пуговицами, со стоячим воротничком, черные парадные же полугалифе и хромовые офицерского типа сапоги. В парадном кителе была даже прорезь такая небольшая и осталась шпага даже. Значит, я мог вырядиться, но совершенно парадно: парадный китель, при шпаге, в хромовых сапогах и всякая такая вещь. Но это опять же не одежда для 20-х годов XX столетия-то. Вот.

Были приобретены туфли какие-то, полуботинки на шнурках. Я очень опасался, что по дороге шнурки лопнут, поэтому на Смоленском же рынке были куплены еще две пары шнурков к этим башмакам. Таким образом мы, в общем, снарядились. Залезли в долги, что-то полтысячи рублей задолжали. Червонцы уже были, вообще, тогда советские деньги были лучше долларов, так сказать. Мы, приехав за границу, в первой же обменной кассе поменяли: за червонец, за десять рублей, давали двадцать две марки, а даже до революции двадцать марок стоило, две марки — рубль. А тут две марки двадцать пфеннигов, значит, за рубль давали. Вот.

Мы, значит, задолжали Кольцовым, больше некому было должать. У нас все приятели, родственники были голые, нищие. Вот. А у Кольцовых деньги были. Ну, потом мы, конечно, расплачивались с ними. Кольцовы нам писали, что им нужно, мы присылали из-за границы, когда там немножко обжились. Но все-таки в первые годы нам из-за этого и там туговато приходилось. Вот.

Переезд

А затем мы приобрели билеты до Берлина, сели в поезд. Кольцовы нас, и Николай Константинович, и Мария Полиевктовна, и Семашко Николай Александрович... Все трое за несколько дней до отъезда: и Семашко, и мы с Лелькой были приглашены к Кольцовым, и нам, значит, всякие напутствия были и все такое. Между прочим, все вот эти наши, значит, начальники: и Кольцовы Николай Константинович с Марией Полиевктовной, и Семашко Николай Александрович, нам сказали: «Нечего крохоборствовать, поезжайте мягким вторым классом». Тогда не было первого класса, второго и третьего, а был мягкий и жесткий. Ну, в общем, также как и сейчас. Так вот «поезжайте мягким классом». Так как мы еще с шибдзиком маленьким, которому билет не полагался... Но Николай Константинович сказал, что я вам подарю даже билет, три билета берите в купе, тогда в купе останется одно еще пустое верхнее место. Сговоритесь с проводником или проводницей, кто у вас там будет, чтобы никого не пускали. Так и получилось. Мы в четырехместном мягком купе ехали, значит, вдвоем с дитем. Николай Александрович Семашко тоже очень это одобрял: «За границу-то вы приедете, может, вас еще встречать будут из фохтовского института. Так не то, чтобы вы в третьем классе приехали, а приезжайте как следует, чтобы не ронять нашего сицилистического достоинства» (*смеются*). Вот. Значит, мы, не уронив сицилистического достоинства, приехали в Берлин.

В Риге у нас была пересадка. До Риги мы ехали по широкой колее. К тому времени от Риги в Европу латыши уже сделали себе европейскую, узкую колею. Значит, там мы пересели и тоже опять-таки сговорились с проводником, но там это было легче. Дали ему червонец на чай. Там мужик проводник был, уже латвийский поданный, понимал в деньгах и вообще, что к чему, и сказал: «Не беспокойтесь. В ваше купе никто не войдет». Значит, мы так в четырехместном купе вдвоем с дитем и доехали до самого Берлина.

В Риге у нас был целый день. Мы погуляли по Риге, с большим удовольствием поели мороженого, еще каких-то купили всяких шоколадок, конфет, всяких вещей, которых у нас тогда было мало еще. Затем попили, с величайшим удовольствием, в кафе кофею со сбитыми сливками и с какими-то пирожными. Одним словом, шик и блеск!

Сели как раз в обеденное время (за границей поздно обедают) в поезд, значит, который в Европу нас повез, в вагон-ресторан пошли, пообедали. У меня еще не пузырились колени и локти, была выглажена еще такая изящная тройка, у Лельки какое-то было платье продольно-полосатое на ней одето. Ничего. Так посматривали европейцы немножко, но... европейцы вежливые, они очень так вежливо смотрели. Вот. Фомка не очень безобразничал, даже совсем не безобразничал. На него, видно, тоже эта Европа подействовала. Так он притих. А вообще был бурен невероятно. Вот.

Доехали мы до Берлина, и тут с нами, конечно, приключилась неприятность. Мы не знали... я-то забыл осведомиться...

позабыл с прежних времен, гимназических, когда с родителями ездил по заграницам и, конечно, через Берлин мы очень часто проезжали, что в Берлине с востока на запад — раз, два, три, четыре — пять вокзалов, вот так, цепочкой. Нам нужно было на предпоследнем, западном, вокзале Zoologischer Garten вылезать. А главным вокзалом считается Фридрихштрассе, средний вокзал. От Zoo, между Фридрихштрассе и Zoo, еще Шарлоттенбург есть, так что расстояние изрядное. Мы решили вылезать на главном вокзале Фридрихштрассе.

А нас, действительно, приехали встречать: во-первых, Лелькина отдаленная свойственница Феррейн, у которых мы должны были остановиться на первое время, до подыскания квартиры собственной. Это потомки московской знаменитой аптеки Феррейна...

М.Р.: Я знаю.

Н.Т.-Р.: Вот. Очень милые люди, всякая такая штука, хорошие, большие наши друзья. Вот. Сейчас никого уже не осталось в живых. И затем еще кто-то из моих старых каких-то друзей, вернее, почти мне незнакомый молодой человек с уймой старых каких-то друзей, моложе меня возрастом. И затем два молодых человека из фохтовского института. И все они, естественно, приехали на Bahnhof Zoo, от которого рукой подать до всех частей западного Берлина, где мы и должны были проживать.

Вылезли мы на Фридрихштрассе — никто нас не встречает. Вышли, взяли носильщика и пошли сперва пожрать в ресторан. Решили: там что будет с нами — неизвестно, а деньги пока у нас есть еще, поедем в ресторации хорошей пищи. И в вокзальном ресторане, значит, очень хорошо пообедали. Мы как раз в обеденное время по нашему приехали, так часа в два. Вот. Пообедали, а потом решили по адресу Феррейнов ехать к ним.

Выходим из вокзала. Вокруг только таксишки. А у нас-то представление, что на автомобилях только миллионеры ездят (*посмеивается*), нам не по карману на автомобиле-то ехать. И стал я искать извозчика. И нашел. Сбоку, у вокзала, стояло около дюжины извозчиков. Одного из них я нанял, он страшно обрадовался, тоже с таксометром таким... Я не знал, что уже в течение ряда лет в Берлине осталось считанное число извозчиков, которые знатных иностранцев, так сказать интуристов по-нашему, возили по Тиргартену и берлинским... по Унтер-ден-Линден, по большим улицам и паркам берлинским гулять, а никуда «отсюда досюда» на извозчиках никто не ездил, потому что это страшно дорого, раза в три дороже было, чем таксишки, и раз в десять дольше, потому что Берлин очень просторный город и огромный по площади.

Но мы взгромоздились на извозчика, очень удобно, вещи он уложил. Так как я бегло говорил по-немецки, он очень обрадовался. Когда узнал, что мы русские, еще больше обрадовался и говорит: «Вы прямо из Москвы, из советской Москвы? И живы-здоровы? — Да, говорю, ничего, живы, черта нам сделается. На то мы и русские. — Ну, вот, замечательно! Раньше у нас русские самые выгодные были иностранцы. Потом не было русских у нас совсем. А теперь вот, видите, оказывается, появляются опять. Очень хорошо!»

Всю дорогу мы трепались, ехали целый час до Феррейнов. Наконец, приехали. Возбудили всеобщий смех, когда в Западном Берлине около их дома остановился извозчик, на живой лошади, в цилиндре извозчицьем, значит, кнут у него воткнут такой изогнутый, все чин чинком. Мы оттуда вылезли с вещами, выбежали все нас встречать. Одним словом, мы там поселились.

И тут-то вначале начались, конечно, всякие страсти-мордасти. Ну, во-первых, оказалось, что не по дням, а по часам образовывались мешки на коленках, на моих штанах, и на пиджаке на локтях, потому что оказалось, что это очень хороший был, дорогой материал для плаща, плотный такой, немецкий как раз материал, но совершенно непригодный для укустумчика. Поэтому мне понадобилось заводить кустумчик, а денежки-то у нас более или менее того... кончаться начали — все заняты. Затем оказалось, что галстук, приобретенный Лелькой чуть ни на Смоленском же рынке, который рядом с нами находился (мы в Никольском, ныне Плотниковом переулке, в этой части, в его дальней от Арбата части, около Успенья на Могильцах проживали), оказался, конечно, совершенно непригодным для какого-то бы ни было приличного окружения. Затем серая моя рубашка и вторая такая же серая рубашка пригодились мне через много лет, когда мы в Бух переехали, и там летом я в них без всяких хальстухов ходил, потому что там в огромном парке мы помещались, наш институт, и мы, вообще, там жили... я ввел там моду босиком ходить и, вообще, так сказать, жить привольно. А в Берлине-то все первые годы нам такие рубашки были без надобности совершенно.



Игра в «городки». Берлин-Бух. 1930

Первые немецкие приключения

Кроме того, оказались на первых же днях неприятности. Как раз через два дня после нашего приезда в фохтовский институт приехало два знатных американца: какой-то крупный анатом знаменитый и крупный миллионер, его приятель, и оба решили посетить фохтовский институт. Посетили.

”

Я уже был в институте, меня демонстрировали, конечно, особо, в качестве зулуса что ли: вот русский, совершенно живой, настоящий, из советской Москвы. Ну, американцам страшно я понравился, что, действительно, живой, парень здоровый, я тогда мог дать одному и, как говорится по-русски, дух вон и лапти кверху.

Это очень картинное такое выражение. Я, говорит, как тресну ему по башке — дух вон, лапти кверху!» Вот.

И вечером эти два американца, очень знаменитые и страшно богатые, пригласили весь институт, весь научный состав института, маленький, за границей большие институты... ну, научных сотрудников ежели двадцать пять человек — это уже большой, тридцать человек от силы. Такого безобразия, как у нас, не бывает. Но зато есть лаборантки там, уборщицы и всякая такая публика. Так вот, пригласили они нас на dinner в семь часов вечера и на весь вечер в лучший, самый шикарный берлинский ресторан «Эспланада», и тут, конечно, опять произошла у меня неприятность: у меня-то этот кустумчик с уже образующимися пузырями. Ну, рубашку мне какую-то приобрела Лелька, по дешевке пошла приобретать, она ничего тогда не понимала в заграничной жизни, абы подешевле. Какую-то белую рубашку с накладной, вставной тут грудью, так сказать. Значит, для дешевизны: рубашка черт знает из чего сделана, из крапивы, а тут, значит, какая-то приличная такая... фронтон. Затем пристежные мягкие отложные воротнички две штуки купила и галстук, за который заплатила семьдесят пять пфеннигов.

Потом я выяснил рассмотрением витрин магазинных, что это самые дешевые галстуки, которые существовали тогда в берлинской природе. Мало-мало приличный галстук стоил два с половиной. Вот я был выряжен... я был облачен в простыню, сидел в простынке, а в это время Феррейны отнесли... рядом в доме была такая американская, сейчас в Москве появилась, чистка, где за час могли вычистить костюм, выгладить и привести в полный порядок. *(Видя, что Радзишевская опять пытается уклониться от пчел, говорит)* Вас часто кусали пчелы и осы?

М.Р.: Не обращайтесь внимание.

Н.Т.-Р.: Но часто или не очень?

М.Р.: Нет. Это неврастения. Я не боюсь так-то... укусят и укусят. Ну, психологически.

Н.Т.-Р.: Ах, психологически вы их боитесь! *(усмехается)* А я вот их физически опасуюсь *(Радзишевская смеется)*. А психологически не боюсь. Тут психология-то...

М.Р.: А вы тоже к ним не очень хорошо относитесь, да?

Н.Т.-Р.: Да нет, ну, конечно, потому что... я к пчелам совсем не хорошо отношусь. Я вам разве не рассказывал своего отношения к пчелам и к электричеству?

М.Р.: Нет.

Н.Т.-Р.: Когда мне было лет восемь, мой старший двоюродный братец для собственной забавы уговорил меня (жили мы тогда в Киеве, были у нас в квартире такие старые штепсельные розетки с большими очень дырками) всунуть два пальца (а пальцы у меня тогда были еще маленькие) в эту штепсельную розетку. К счастью, было сто десять вольт только, но все-таки меня шваркнуло в противоположный угол комнаты. И после этого я к электричеству отношусь безо всякого доверия и отрицательно, так как все равно ничего в нем не понимаю. Вот.

А к пчелам отрицательно отношусь с 1911 года. Я был в гостях летом как-то у дядюшки моего, а мой дядюшка, отцовский брат, был психиатр. Под Петербургом была знаменитая огромная, вроде как в Москве Канатчикова дача, психиатрическая лечебница имени императора Александра Ш... как же она называлась, господи? она и сейчас еще... ну, вскочит потом. Удельная! Вот. И этот дядюшка летом отдыхал в Смоленской губернии в имении своей супруги. И туда летом к ним приезжал Иван Петрович Павлов, с которым они вместе учились у Боткина, приятели были всю жизнь до самой смерти моего дядюшки, и поэтому я стал учеником Павлова, правда, не по этой дури всякой, рефлексам, а по городкам. Он очень хорошо играл в городки, и я с ним часто игрывал.

А дядюшка любил разводить пчел. У него была большая пасека и какие-то там дадановские или еще какие-то ульи, черт знает что еще. И часто меня таскал помогать, значит, надевал мне сетку на морду, и перчатки какие-то на руки. А так как я бегал в коротеньких штанцах, босиком и с голыми ногами, то на ноги какие-то такие штаны напяливал. Вот. И я ему помогал на пасеке. И как-то мы должны были перенести улей с одного места на другой. Он взялся правильно, под дно, а я за бока. А дно, оказывается у него...

М.Р.: Отходит.

Н.Т.-Р.:...отходило. Это был улей в виде такого домика, который ставился на днище, на дно. И вот, когда мы подняли его, дно-то и выпало. И весь улей, заужжав, со злостью вылетел. И тут уж никакие сетки не помогли. На меня набросились пчелы. Как-то на пасечников... то ли они пахнут как-то воском... на дядюшку мало там пчел было, хотя он потом чертыхался и ругал меня страшно. А у меня всюду они забились. Ужас! ужас! ужас! К счастью, тут был пруд рядом с пасекой, я, значит, сразу сообразил и, прыгая через ульи понесся к пруду, так прямо бултыхнулся под воду. И тут полегчало немножко. В общем, я разделся, всех этих пчел повыбрасывал, жала повываскивал, но у меня к вечеру температура высокая поднялась, ужас, весь я распух. С тех пор я пчел не обожаю тоже.

” Пчелы и электричество — это высшая сила, с ними бороться нельзя. На вас ежели лев нападает, вы можете взять дубинку и сразиться с ним, со львом. Ну, ежели вы не умеете со львом сражаться, то он вас победит и съест. А ежели умеете, так и вы можете победить: между глаз хряпнуть дубинкой — и он дух вон, лапти кверху. Вот. А с пчелами или с электричеством как вы будете бороться?

(смеются). Это высшая сила, понимаете?

М.Р.: Ладно, вернемся...

Н.Т.-Р.: Вернемся за границу.

М.Р.: ...к вашей манишке.

Н.Т.-Р.: Вот. Значит, меня посадили в простыне на стул, в ожидацию, а укустумчик мой унесли в американскую эту самую гладильню, чистку. И, действительно, через час принесли в довольно приличном виде: свежеразутуженный, всякая такая штука... Значит, Лелька какие-то мне запонки еще столь дешевые купила, что они не закрывались, как-то не держали воротничок и манжеты для рубашки. И поэтому воротничок и манжеты как-то белыми ниточками там одна из сестер Феррейнов, очень была ловкая на всякое рукоделие дамочка, она на мне пришила все это крепко, чтобы не сваливалось. Какие-то у своего братца нашли запонки, значит, запонки на меня. Да, и сбегали все-таки еще за два с полтиной какой-то приличный галстук купили. Башмаки просто у меня были новые, московские, новые полуботинки. Здесь, значит, заграничным кремом сапожным вычистил я, отчистил до блеску — одним словом, отправился.

И тут произошло вот что. Произошла неприятность со мной опять же. Пришел я в «Эспланаду». Я совершенно отвык от хороших ресторанов, от всяких таких мест, поэтому сперва не сразу нашел, значит, зал отдельный. Эти американцы заказали отдельный зал, потому что нас все-таки было около двадцати пяти человек всех вместе. Лелька отказалась идти, хотя тоже была приглашена. Наотрез: «Не пойду!» Она хуже меня на языках говорила. Этого еще стеснялась. А я, наконец, дошел, нашел. Язык до Киева доведет. Спрашивал, где вот тут американцы обед дают. Меня через какую-то пустую залу подвели к закрытым дверям, перед которыми так полдюжины или десяток джентльменов во фраках стояли и о чем-то разговаривали. Я решил, что это ихние гости, стал здороваться. А это оказались официанты (усмехается). Вот я со всеми официантами за ручку поздоровался. Они страшно удивились, но когда узнали от меня, что я только что из Москвы, сразу все обрадовались: «А! Вы есть большевик! Ihr sind ein Bolschewik also!» Я говорю: «Да-да-да, вот из этих самых, которые большевики-то. Человек еще дикий. — А почему вы так хорошо по-немецки? — Ну, я говорю, это еще осталось у меня с тех времен, когда я не был большевиком, а просто русским был. А теперь у нас русские со всеми смешались, у нас теперь двенадцать языков, и вообще басурмане всякие, так что мы сейчас тоже стали полудикие. Ну, так могу еще... вы как, по-французски можете?» Оказалось, что двое или трое по-французски говорят. Ну, я с ними по-французски поговорил. Очень

они тоже обрадовались. Но потом говорят: «Что ж, вы заходите, раз вас пригласили».

Я вошел. Американцы очень обрадовались. Так как Фогт почти не говорил по-английски, а только по-французски, а американцы кроме как по-английски ни на каком языке, конечно, не говорили (народ дикий), то меня посадили, когда увидели, что я без дамы, жена не пришла, меня посадили промеж двух американцев. Нет, промеж двух каких-то дамочек молоденьких и приятных. Американцы... по обоим сторонам у американцев по даме, а я между двумя дамами, которые были дамами американцев, для поддержания аглицкого разговора. И эти дамы, которых с американцами посадили, тоже немножко могли спикать. Тогда по-английски-то никто не говорил за границей. Французский — да, а по-английски... какой дурак по-английски квакать будет, неприлично было даже. Вот. И обедали мы, обедали, обедали, трепались. В общем, я к полуночи домой вернулся. Вот это первое было мое заграничное происшествие.

Второе происшествие было такое. Опять с одеждой. Тут мне из последних денег, вернее из первых, уже немецких денег, еще до того как мы начали расплачиваться с долгами, Лелька мне приобрела укустумчик. В Берлине было два огромных магазина готового мужского платья: «Peek und Cloppenburg» и «Esders und Dickhoff». Прекрасные магазины! Надо сказать, в Германии одежда-то была недорогая. Самая дешевая пиджачная тройка? Правда, у «Peek und Cloppenburg» и «Esders und Dickhoff» самые дешевые были тридцать с чем-то марок. Но был такой центр «Center a Birkenmeier», в северном Берлине было два или три каких-то отделения этого тоже огромного магазина. Там по двадцать шесть марок были, и на вид вполне приличные укустумчики. Только дольше года не носились, конечно, разваливались, потому что из спрессованного дерьма какого-то были сделаны. Вот.

Но было посоветовано Феррейнами Лельке купить мне приличный костюм. А надо сказать, самые дорогие готовые мужские костюмы стоили сто пять марок примерно. Кажется, сто пять. Вот потом уже, ставши, так сказать, человеком богатым, я ездил по заграничам, я покупал себе стопятимарковый костюм. А тогда мне был куплен какой-то хороший очень костюм, не самый дорогой и самый модный, а за восемьдесят или восемьдесят пять марок. Очень хороший костюм. Одет я был прилично, и бельишко мне купили и отложные полужесткие воротнички, тогда появились такие воротнички, которые не мнутся, очень замечательные. И несколько пар запонок мне приобрели. Чего еще? Гребенку приобрели, гребеночку, причесываться. Волосья у меня были длинные, лохматые, надо было причесываться. Вот. И башмаки системы «salamander». Были две фирмы крупных в Берлине: «Мерседес» и «Саламандра» — обувные магазины. Причем опять-таки башмаки, ну, полуботинки мужские, вполне приличные, с виду ничем не отличающиеся от других, самые дешевые стоили четыре с полтиной, по-моему, четыре марки пятьдесят, два двадцать, значит, на русские деньги. А самые дорогие готовые башмаки стоили шестнадцать с полтиной. Так что дешевка была, вообще-то. И мне с самого начала было велено покупать себе дорогие башмаки, что это выгоднее и приличнее. Вскоре я убедился в правильности английской поговорки...

М.Р.: Мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи.

Н.Т.-Р.: Мы не так богаты, чтобы покупать дешевку. Действительно, это были хорошие вещи куплены. Значит, я был одет, обут, прилично выглядел. У меня появилось сперва летнее пальто, а к зиме, значит, такое осеннее, драповое пальто завели. Я и тут-то никогда зимнего пальто-то не ношу, в Москве-то, так же, как мой покойный учитель Четвериков Сергей Сергеевич, тоже в драповом пальто, да еще и нараспашку, всю зиму бегал по Москве. Вот.

Но в один прекрасный день оказалось, что мне в качестве нового научного сотрудника Kaiser Wilhelm Institut'a нужно было явиться с визитом в Kaiser Wilhelm Gesellschaft⁴, в преждиум, представиться президенту, знаменитому старцу Харнаку, фон Харнаку, президенту Kaiser Wilhelm Gesellschaft, а он был эллинист по профессии, то есть эллинской культурой занимался, древними греками и прочей такой мурой. Был знаменитый классик, основатель Kaiser Wilhelm Gesellschaft. Вот. А за границей днем в официальных случаях положена визитка. Это тутошний народ, да и вы, наверное, вообще, никогда и не видели визиток. Или видели? По-английски cut-away, по-немецки, с аглицкого сдудо, Cut. Это вроде сюртука. Что такое сюртук, знаете?

⁴ Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften — Общество кайзера Вильгельма по развитию науки (нем.). Организация, объединявшая 21 научно-исследовательский институт Германии (1911—1948).

М.Р.: Да.

Н.Т.-Р.: Это вроде пальто...

М.Р.: Да-да-да, короче.

Н.Т.-Р.: ...но только покороче немножко, но длинное, черное такое, с франными шелковыми отворотами. Вот. Сюртук — это такая официальная полупарадная мужская одежда была когда-то. Вот чиновники крупные и средние им в подражание днем одевали иногда. А визитка — это короче сюртука, не такое двуполое, как сюртук, и со скошенными назад хвостами. Значит, не как у фрака хвосты, а вот такие полы скошенные. Вот это визитка называется. И к визитке... визитка может быть либо цвета маренго, то есть того цвета, которого был мундир Наполеона при битве у Маренго. Это темно-серый такой, шерстяной. Либо визитка черная, а штанцы продольно-полосатые. Это обычная штука. А визитка маренго — это такой шик особый.

У меня никакой визитки не было. А мне был назначен определенный день приема, когда он меня примет, президент, и всякая такая штука. Визитку как-то... хорошие визитки не продавались готовыми. Заказывать визитку вроде поздно уже было. Но тут выручил меня знаменитый гистолог и гистопатолог, специалист по патологической анатомии, Бельшовский такой, он заведовал гистопатологическим отделом в фогтовском институте, старый такой еврей бреславльский, профессор. И жена у него симпатичная старая профессорша. И вот, сильно извиняясь, они вместе с Фогтом меня как-то вызвали к себе, в фогтовский кабинет, стали страшно извиняться, говорят: «Вам вот надо представляться президенту. Конечно, вы можете пойти в пиджаке: вы иностранец. Но полагается в визитке. А визитка — вещь дорогая, сразу ее не сошьешь, а покупные все дрянь. А у Бельшовского есть практически не надёванная визитка, которой пятнадцать лет, когда у него брюшка не было, как раз на вас». А по росту вы с ним одинаковые, с Бельшовским! Бельшовский очень просит (и он тут закивал, значит, старый еврейчик, вас принять эту визитку вот на такие случаи. Вам она тут, за границей, может, еще в жизни раз пять понадобится. Ему эта визитка... у него другая есть». И это оказалась визитка маренго, самая, так сказать, дорогая и шикарная

визитка. И тут же, в соседней... У Фохта была при кабинете еще соседняя комнатка, где у него стояла кушетка, где он отдыхал. Он очень любил днем отдыхать: через двадцать минут после завтрака он ложился на кушетку, закрывал глаза и отдыхал. Поэтому, наверное, и дожил до девяноста двух лет, недавно помер, лет, наверное, десять тому назад, девяноста двух лет от роду. Нет, больше, лет десять тому назад, в 64-м году. Он 70-го года рождения... тридцать да шестьдесят два — девяносто два. В 62-м году он умер. Вот.

Надел я бельшовскую визитку, к которой мне было приобретено визиточное белье всякое: значит, крахмальный воротничок надо было, отложной, крахмальный воротничок к визитке положен, и темный широкий галстук. Одним словом, по всей форме меня нарядили. И отправился я... там меня провели к Харнаку. Старик оказался, ну, совершенная душа! И заговорил со мной по-русски! Он, оказывается, из прибалтийцев, из балтийских немцев, когда-то в молодости кончил университет в Юрьеве, Тарту по-теперешнему, по-немецки Дерпт. Вот. С акцентом, конечно, и слова искал, но вспомнил, страшно радовался, говорил: «Мне вот уже десять лет почти, да десять лет с лишним (это было осенью 25-го года), одиннадцать лет не приходилось ни разу по-русски говорить». Вот.

Так что, вместо положенных десяти минут аудиенции, я у него просидел целый час, он меня угощал, конечно, кофеом, как за границей положено, пили мы с ним кофий и трепались по-русски обо всем, о том, что, вот, человек, ежели он, особенно молодой... Он говорит: «Вот я бы не пережил, а вы, я вижу, хорошо пережили революцию» (*усмехается*). Я говорю: «Ничего. Более или менее здоров и понимаю, что к чему.

” Так можно пережить и две революции. Черт с ним, это можно! У нас, говорю, есть люди, которые и в 905-м году революцию пережили, и теперь революцию пережили». Но тогда-то я еще не знал, что революцию пережить — это каждый дурак может, а вот сталинизм пережить — это много мудренее.

(Поняв, что сказал лишнее, восклицает.) Ох ты, господи! Ай-ай-ай!

Ну вот, значит, поговорили мы обо всем. Он очень обрадовался, что я интересовался античной философией, греческой как раз, и не только Платоном и Сократом, и всякими такими древними идеалистами, но и Платином, уже нашей эры. Плотин — это третий век, по-моему, после Рождества Христова. Вот. Так что мы с ним еще о древних философах поболтали и, так сказать, расстались. И он говорит: «Ваш институт фогтовский будет скоро строить себе новое помещение в Бухе, большое, хорошее, новое. Если я доживу, как только он откроется, я туда к вам приеду, и мы еще минимум раз в жизни с вами повидаемся». А ему уж восемьдесят лет было.

И он, действительно, лет восьмидесяти пяти, наверное, умер. Побывал в Бухе, и там мы с ним завтракали вместе, опять вперемешку с немецким по-русски говорили, потому что там много всяких людей за завтраком было, немцев, туземцев. А тут сидели еще какие-то там члены президиума, но он не обращал внимание. Мы с ним... я у него был на приеме, остальные, так сказать, без надобности. Вот. Это было второе событие существенное.

Третье событие

И, наконец, третье событие. Всего бывает три всяких событий. Вот третьим событием было то, что мы поселились на квартире, в меблированной квартире в Штеглице, юго-западном, вернее, в южном предместье Берлина, ну, не совсем предместье, но, в общем, так, не центр Берлина старый, а зеленая такая местность. Берлин, вообще, очень зеленый город. Там масса парков. В каждом районе Берлина свой Stadtpark — городской парк, обыкновенно большой, типично немецкий, аккуратный, который каждый день подметался, все соринки убирались специальными сторожами с метлами, каждый год наново красились скамейки в зеленый цвет. Причем по-немецки: значит, зеленая скамейка стоит и белой краской на ней написано: «Sitzbank» — «скамейка для сидения», чтобы не перепутали с комодом, не дай Бог! (*смеются*). Вот.

И вот в Штеглице, как и во всяком районе Берлина, свой маленький базарчик, рынок такой. Вечером, вернее днем, так в послеобеденное время, часов с пяти, там начинается парк культуры и отдыха, так сказать: всякие там шатры и шатровые такие домики, в которых различные эстрадошки, где, значит, танцы, где какая-нибудь музыка, где еще что-нибудь, небольшие выставки и, конечно, на каждой есть Sportbude, такой небольшой цирк, где борьба и бокс происходит, профессиональный, конечно. И вот я повадился в нашу штеглицову Sportbude ходить. Для этого мне оказалось выгодным Лелькино незнание и незаинтересованность в коммуникациях.

Я ездил в свое время от Феррейнов... от Феррейнов можно было прямым трактом, одним трамваем доехать до этого самого... института нашего. Из новой нашей квартиры еще проще, просто совершенно по прямой линии, по двум: Hauptstraße и Potsdamer Straße — прямо, можно сказать, от нашего дома до института, ходило несколько трамваев. Я же от Феррейнов ездил под углом, вот таким манером, с пересадкой, на двух трамваях, и получал от Лельки, по сороки ее, на два трамвайных билета. Вот. Вместо этого я бегом бежал по этим большим улицам, бегом добежал даже быстрее, чем на трамвае, и сэкономил, значит, на дороге (трамвай стоил пятнадцать пфеннигов) два трамвая — тридцать пфеннигов. Мне Лелька выдавала каждый день шестьдесят пфеннигов. Представляете себе? А в Sportbude один тур стоил гривенник. Я на шесть туров сэкономил: шестьдесят пфеннигов в день имел заработка собственными ногами, зарабатывал. Лелька тогда еще не ходила в институт, только время от времени ездила в институт, потому что была занята домашними делами, приготовлением так сказать, ну, домашнего хозяйства всякого. И вот у меня был, значит, регулярный доход.

И я более полугода каждый вечер ходил, значит, у нас в Штеглице в Sportbude смотреть борьбу и бокс, и стал там почетным посетителем. В один прекрасный день мне был выдан билет, такой печатный, большой, в качестве почетного гостя штеглицкой Sportbude, по которому я на весь остаток жизни мог даром ходить к ним смотреть борьбу и бокс, и сидеть в первом ряду. Вот. И это пришлось очень мне вовремя.

М.Р.: Разоблачили, что ли?

Н.Т.-Р.: Меня разоблачили. Те же самые наши друзья Феррейны Лельке сказали: «Ну, что ты, дура, ему шесть гривен каждый день на трамвай даешь. Во-первых, прямые трамваи ходят, уж ежели, так пятнадцать пфеннигов туда, пятнадцать обратно. Но, кроме того, в Берлине продаются месячные, полугодовые и годовые билеты на определенный трамвай, на все трамваи берлинские вместе взятые, на трамвай с пересадкой на автобусы, на автобусы с пересадкой на трамвай, на трамвай с пересадкой на метро, на метро, автобусы и трамваи вместе взятые *(усмехается)*. Одним словом, ежели взять годичный билет на все виды городского транспорта: метро, затем на автобусы и трамваи, то обойдется тебе примерно в два раза дороже, чем ты сейчас на трамвай даешь». Так и было сделано. Мне, значит, годичный билет купили трамвайный, но прямой, почти от нашего дома до института. Так я, значит, до тех пор, пока... три года мы почти... да. Три года в Берлине жили и работали, потом в Бух переехали, в новое помещение. Вот три года, два с половиной. А первые полгода я, значит, зарабатывал шесть гривен в день.



Дом в Берлин-Бухе, где Тимофеевы-Ресовские жили с 1929 по 1945

Вот, понимаете, везет человеку! Мне всегда в жизни везло, в общем. Когда разоблачили эти мои трамвайные поездки, то есть непоездки на трамвае, в это время мне борцы и боксеры преподнесли почетный билет бесплатный. Ведь надо же, а?! Замечательно. Вот это было третья замечательная вещь в начале нашего переезда за границу. Как видите, все приятные вещи были, в общем и целом. Так что три таких приятности.

И затем на всю жизнь я запомнил, что такое немецкий язык. Я потом уж на трамвае-то ездил, по сезонке уж зачем оголтело бегать. Иногда эти самые заграничные-то люди даже дивуются: что человек бежит? Вроде так интеллигентный с виду человек бежит, как оголтелый. А я, действительно, бежал. Ну, что, километров пять, наверное, было, от Штеглица до института. А пять километров — это что, в общем, в общем, в общем, в общем — это двадцать минут бегу-то.

М.Р.: Бегу?

Н.Т.-Р.: Да. Нет, ежели не ставить никаких рекордов, то бегом как раз минут двадцать — двадцать пять. Вот я так и добежал. И столько же было на трамвае, на прямом, ну, пятнадцать — двадцать минут, да его еще нужно подождать, пока он подойдет. Там в Берлине очень удобный был транспорт. Там никогда таких петрушек, как в Москве не было, чтобы... Во-первых, никогда не было переполнено.

” Это я познакомился, только вернувшись в обширное наше отечество, что, оказывается, не транспорт для людей, а люди для транспорта. Как и торговля не для людей, а люди для торговли, для того, чтобы существовала советская торговая сеть. И электрички — то наши не для публики, а публика для электричек. Вот. А там все для публики сделано.

Там в часы пик и трамваи и автобусы «бисы» ходят. Пройдет номер и через минуту «бис» идет. Ежели сидячих мест нет, кондуктор высовывает морду и говорит: «Через минуту будет „бис“».

А вообще... в Лондоне вот тоже... в Берлине тоже, по-моему, было. Но в Берлине я никогда в толкучку ни в трамваи, ни в автобусы не попадал, но, кажется, и в Берлине это английское правило было введено: не пускают больше пяти стоящих людей ни в автобус, ни в трамвай. Ежели пять — шестого уже не пускают, всё! Говорит проводник: «Через минуту будет следующий». А чтобы такого, как у нас, как сельди в бочках напиханы были, друг другу ноги бы отдавливали! Господи, я поэтому никогда в Москве... я два раза был в метро. Один раз от Большого театра меня довезли до Смоленского рынка, две остановки. И другой раз от «Славянского базара», ресторана, после защиты какой-то диссертации, на Киевский вокзал. Три, по-моему, остановки. Надула таксишка... таксишку я заказал — не приехала, а у нас последняя электричка уходила. Больше в метро никогда не был, в московском. В Москве ни разу ни на одном автобусе не ездил. Один раз с удовольствием проехался на трамвае.

Из этих общественных средств транспорта я признаю только трамвай. Все-таки это цивилизованный способ передвижения. Он всегда по рельсам катится, а не тыркается куда угодно, как автобус, мешает только движению уличному. А особенно троллейбус. Это же черт знает что: значит, с одной стороны, привязан к проводам, а, с другой стороны, все-таки может развезать вправо-влево — совершенно идиотская вещь. Трамвайчик катится себе по рельсам, все в порядке. А теперь, говорят, бесшумные трамваи сконструировали. Это, конечно... никого он не давит обыкновенно, катится и дребезжит при этом. Слышно, едет трамвай. Все ясно. Так что так оно...

Тут началась... значит, тут мы привыкали к загранице. Во-первых, каждое лето уезжали на время отпуска на Балтийское море. А Балтийское море — это море, которое я признаю. Например, Черное я не признаю. Это мертвое море, поганое, паршивое. А Балтийское признаю. Я, вообще, северные моря люблю. А Балтийское, оно и для купания достаточно теплое. Мы ездили всегда, значит, в июле. Июль и первая половина августа — это самое теплое время на Балтийском море. Позагорать можно и купаться целый день можно, и, вообще, замечательно. И ездили мы всегда в какую-нибудь рыбацкую маленькую деревушку.

Последние десять — пятнадцать лет жили в Ровэ обыкновенно, это маленькая деревушка в Померании, сейчас она к Польше отошла. Никогда мы в горки не ездили ни на какие. А там было... Ну, на лето приезжало в эту деревушку, Ровэ, ну, там было, может, тридцать — сорок рыбацких изб, разбросанных по побережью и по лесу, и, ну, за лето там, может, бывало около сотни так называемых гостей. За все лето. Обыкновенно приезжали на месяц на полтора так. Так что в каждый данный момент в течение лета там было посторонних людей двадцать — двадцать пять человек.

А до того несколько лет... из двадцати лет мы, в общем, лет двенадцать в Ровэ проводили, года четыре в Армсхопе, это около такого полуострова и заповедного леса Дарс. Это от Ростка недалеко. Это очень интересное место. Опять-таки маленькая деревушка рыбацкая и маленькая же художническая колония. Там рыбаки только и затем с конца XIX века немецкие художники-пейзажисты завели себе там дачки. И все. Никаких там посторонних людей не было. У нас были приятели художники⁵, вот мы к ним и ездили туда. И года два были на... как она теперь по-русски-то называется... Курская коса что ли, Kurische Nehrung, это к востоку от Кенигсберга. Кенигсберг называется Калининград.

М.Р.: Калининград, да.

Н.Т.-Р.: А Kurische Nehrung, кажется, Курская коса называется, или Куршская. Вот там были. Тогда это была как раз последняя деревушка рыбацкая на границе Литвы. В двух километрах была Литва уже, и там километрах в четырех от нашей деревушки была литовская деревушка. Там тоже очень хорошо было, лоси ходили. Так что мы всегда таким образом проводили время. Вот.

⁵ На время нескольких летних отпусков Тимофеевы снимали домик в Рове вместе с семьей их друга художника О. Цингера. Подробнее об этом см.: Цингер О.А. Где в гостях, а где дома. Париж-Москва, 1994. С. 117–118.

Научная работа

Значит, привыкали к загранице. Я два-три и из Берлина ездил за границу: раз, кажется, в Англию, раз в Швецию, раз в Бельгию, раз в Италию. Кажется, вот так. Два-три-четыре ездил, потреться. Вот. И началась у нас научная тамошняя работа. Там работу научную начал я в виде продолжения московской, конечно, чего уж там. Как я начал, в основном на дрозofile, заниматься, с одной стороны, мутационным процессом, с другой стороны, фенотипикой и с третьей стороны интересоваться популяционной генетикой, то есть мы тогда начали думать о том, что нужно основать такую науку — популяционную генетику. Это мы еще в Москве начали думать с Четвериковым и Ромашовым. Вот. А тут начали делать мы с Лелькой, потом вот появился Райниг такой, очень талантливый зоолог, очень симпатичный молодой немец, родившийся в Америке и выросший в Америке, поэтому он назывался... имя ему было Уильям Фред Райниг. Он хорошо говорил по-английски, не разучился за время войны и послевоенное время. И, кроме того, это я вам уже в прошлый раз говорил, появился такой русский немец Клемм.

М.Р.: Угу.

Н.Т.-Р.: Затем появилась такая польская еврейка, по-польски не говорившая, но по-русски говорившая вполне прилично, Тененбаум Эсфирь Абрамовна.

М.Р.: Тоже говорила.

Н.Т.-Р.: И затем профессор Крюгер, такой уже пожилой шмелиный специалист. Вот у меня появились, значит, четыре научных сотрудника, и вскоре появился пятый — Клаус Циммерман, доктор Циммерман, который окончил Ростоцкий университет очень поздно, в 28-м году, по-моему, он кончил университет только, потому что всю войну провоявал, до 19-го года, а потом после войны поступил в университет и не спеша его кончил, потому что человек он был богатый. Его папаша был богатый, лесной промышленник, лесной промышленностью занимался, так сказать, по слухам, даже миллионер был, так что ему спешить некуда было. Деньги зарабатывать не к чему было: папаша давал. Но он очень хороший, настоящий зоолог был. Он скончался недавно. Он был на два года, по-моему, меня старше. Вот. Скончался он, по-моему, года четыре тому назад.

Уже после этой войны наладилась одно время великолепная кооперация известного, тогда московского, а теперь дальневосточного зоолога Коли Воронцова, такой Николай Николаевич Воронцов есть, женатый на одной из дочек Ляпунова покойника, кибернетика и математика, на Ляльке Ляпуновой. Так вот, я даже ставил их вместе всех. Такой есть цитолог млекопитающий Мате, швейцарец, вот Клаус Циммерман, который у меня занимался эпигенетикой, генетикой и зоогеографией эпигенетики, и он же занимался различными мышевидными грызунами, тоже популяциями, генетикой, воспроизведениями и так далее. И вот Коля Воронцов, Циммерман и Мате, швейцарец, втроем, в трех разных странах живучи, кооперировали, развили очень интересное направление новое работ по грызунам. Мате занимался цитологией, потом Коля наладил на цитологию свою супругу, Лялю Ляпунову. Клаус Циммерман разводил всяких неразводящихся диких мышевидных грызунов, а Коля занимался их систематикой и палеонтологией, всякой такой штукой.

У Циммермана был талант, дар. Это бывают такие зоологи, у которых любая скотина плодится, и множится, и разводится. Вот Циммерман такой был. Существует давно целый ряд мелких млекопитающих, которые разводятся и в зоологических садах, и в лабораториях, и некоторые дамы их содержат, разводят и так далее. А есть виды, которые ни у кого, нигде, никогда не размножались. А у Циммермана размножались. Он просто сажает в такую большую стеклянную посудину, аккумуляторную банку большую, чтобы выпрыгнуть не могли, бросает им там сенца, для того чтобы они могли зарыться в сене, кормит чем-нибудь, и глядишь — детишки появляются у них и великолепнейшим образом они размножаются. Приходится писать статейку в зоологический журнал, что вот, каким образом не ведомо, но размножаются они в лабораторных условиях вполне. Вот он по размножительной части, значит, принимал участие и по части генетики этих мышинных грызунов. Вот. Вот эти первые пять человек были моими первыми немецкими сотрудниками.

М.Р.: Может, вы отдохнете, Николай Владимирович?

Н.Т.-Р.: Ежели хотите.

М.Р.: Нет, я-то с удовольствием. Мне просто кажется, что вам трудно. Нет?

Н.Т.-Р.: Нет, мне пока не трудно. Я когда прекращу на сегодня, то прекращу.

М.Р.: Тогда я молчу, считайте, что я ничего не говорила.

Н.Т.-Р.: Я вот хочу дойти до Буха сегодня.

М.Р.: Хорошо.

Н.Т.-Р.: Так вот. В Берлине собрались поначалу эти первые мои немецкие сотрудники: профессор Крюгер, Клемм, Райниг, Тененбаум, Циммерман. Занимались мы дрозофилой. Я заставил всех их, ну, кроме Крюгера. Этот старый сморчок сидел там со своими шмелями, он, действительно, знал в лицо каждого шмеля, и большой был специалист по этой части, учить его было нечему, потому что он неспособен был воспринимать что-либо наукоподобное, а только голый систематикой мог заниматься. А остальных всех заставил, значит, поработать с дрозофилой. Каждый у меня сделал какую-нибудь дрозофильную работку. Райниг, между прочим, дрозофильную докторскую диссертацию себе взял, ну, немецкую докторскую. Немецкая докторская — это вроде нашей кандидатской. Там, кончивши университет... можно было просто кончить университет и всё, а можно было представить докторскую диссертацию и сдать докторский коллоквиум еще, разговор, вроде экзамена. Почти все немцы, кончавшие университет, делались докторами, потому что вроде «барин», «барыня» — у нас, а там, значит, «доктор» — Frau Doktor, Herr Doktor. Для повышенного социального уровня было полезно такую степень иметь. Вот.

Значит, все они более или менее всерьез не столько усваивали, сколько осваивали генетику для того, чтобы затем всякими делами биологическими заниматься уже, так сказать, на теоретическом генетическом фундаменте. Я думаю, что это у нас в лаборатории хорошо удалось.



Под конец у нас в очень разных направлениях велась работа, от почти теоретической физики до почти чистой зоологии. И все это было органически связано и теоретически увязано с генетикой. Это удалось у нас, эта затея удалась.

Так вот, начали мы все направления: мутационные, фенотипические и популяционно-эволюционные в Берлине. Первые три года, значит, моей заграничной жизни еще в Берлине до переезда в новое помещение института в Бухе было довольно тесно (у нас было три комнаты). С другой стороны, достаточно просторно, потому что не было практически лаборанток — этой чумы советских наук. Потому что каждый дурак, кончивший университет или вуз какой-нибудь, требует себе лаборантку, поэтому бездельниц-девок, которые смотрят в окно, ковыряют в носу, треплются друг с другом и треплются по телефону, ими забиты все коридоры и лаборатории в советских институтах. Этого там нет. Я был очень удивлен и обрадован, что порядки там давно установились такие, что если человек на работе трепется по телефону не по делу, каждый молодой человек, не имеющий собственного телефона служебного... ежели ты доработался и дожил до собственного телефона служебного — трепись на доброе здоровье, это твое собачье дело. Но так, на казенных телефонах общего пользования трепаться никому не полагалось. По делам службы, пожалуйста, им можно было пользоваться. Но чтобы лаборантки, как у нас, трепались друг с другом и обсуждали, что вот там-то выбросили туфли, а там-то выбросили еще что-то... за это выгоняли со службы.

Полагалось работать — тогда во всем цивилизованном мире был восьмичасовой рабочий день. Восьмичасовой рабочий день, то есть работать полагалось восемь часов. Никаких этих советских штук, как одно время у нас, опоздал на три минуты — скандал. Этого нигде не было, кроме как у нас. Полагалось... ну, скажем, начиналась в институте у нас работа в девять часов, кончалась она в шесть часов. Значит, девять часов как будто, с девяти до шести, но час полагался на обед, то есть час между двенадцатью и тремя каждый мог на час уходить, конечно, по уговору со своим начальством, с заведующим

лабораторией. Все сотрудники лаборатории могли на час уходить на обед, куда хотят: хотят в шикарный ресторан, хотят домой, хотят в пивнушку, куда угодно на час уходить между двенадцатью и тремя. Вот. Около девяти все должны были собираться на работу, около шести уходить с работы. Но это, конечно, препараты, техники, лаборантки, служительницы — вот такая публика. Научные работники имели так называемый неограниченный рабочий день. Они могли когда угодно приходить, когда угодно уходить. И всё. Конечно, опять-таки по уговору со своим заведующим лабораторией. Ежели заведующему лабораторией по каким бы то ни было причинам нужно было, чтобы завтра в такое-то время все были на месте, ну, скажем, какое-то посещение иностранных ученых, желающий ознакомиться с лабораторией или что-нибудь еще такое, тогда он накануне, значит, предупреждал, что «уважаемые, завтра все будьте на своих местах к такому-то часу, придут такие-то люди в гости». Но это естественно. Так? А больше никаких особых формальностей не разводили.

Бух и его окрестности

Так вот, сперва, значит, у меня была совсем маленькая лаборатория. В 28-м году мы первыми в фогтовском институте, моя лаборатория перебралась в Бух. В Бухе в это время уже строилось большое шестиэтажное здание, новое здание института, Kaiser Wilhelm Institut von Hirnforschung, в котором, значит, и мой отдел уже, лаборатория моя превращалась в отдел, должна была стать отделом этого института.



Мы же переехали первыми, потому что у нас для культур много места потребовалось, да народу немножко собралось, у меня стали появляться научные гости. Приезжали из-за границы люди поучиться генетике, в том числе и ко мне.

Приезжали из разных университетов и других институтов, из Германии, из разных мест молодые люди поработать. Так что вот всякой такой научной публики становилось все больше и больше. В этих трех комнатках в старом берлинском помещении института нам стало тесно.

Поэтому в Бухе было организовано Фогтом и Kaiser Wilhelm Gesellschaft следующая штука. Пока строился новый институт под нас, специально под мою лабораторию, был освобожден один так называемый Landhaus в Буховском нервно-психиатрическом заведении. А это вот что. Бух когда-то был... В двадцати километрах от Берлина расположена была деревушка Бух, по-видимому, очень древняя. Раскопки показали, что на месте Буха еще в бронзовом веке были какие-то поселения не то германские, не то славянские, скорее всего, славянские в те времена. А потом появилась какая-то немецкая уже деревушка или прусская деревушка, то есть литовская, которая онемечилась, а рядом разросся Берлин. И в 90-е годы XIX века, когда Берлин стал уже расти все скорее и скорее и стал столицей уже мощной большой Германской империи, то было решено: за пределы Берлина помаленьку выносить берлинские больницы и клиники. Совершенно разумная вещь. Чем в центре, в духоте, в дыме, в копоти, понимаете, и так далее держать крупные больницы, лучше на свежий воздух.

И вот большие городские клиники, больницы, решено было построить около этой старинной деревушки Бух, в которой было, ну, может, пятнадцать — двадцать крестьянских дворов и довольно старая церковь XVII века с хорошим очень органом. И вот тогда сильно разбогатевший и, действительно, очень богатый город Берлин построил там два госпиталя для стариков, среднее между богадельнями и больницами, куда по дешёвке, а частично бесплатно, а потом по больничным кассам помещались и могли помещаться старые люди, либо одинокие, либо больные чем-нибудь хроническим. Это называлось Hospital — госпиталь. Таких два госпиталя, каждый на тысячу с небольшим человек, были построены там.

Затем на полторы тысячи человек детская больница, несколько в стороне, в очень замечательном... окружена она была лесом и лугами, и небольшое озеро было. Прелесть место! Это детская больница, где, во-первых, основная часть этой больницы была для длительно болящих детей и хроников всяких, где вылечивали всяких таких детишков, которые чем-нибудь болели. А часть просто для... второй по величине сектор был для выздоравливающих. Значит, скажем, дети, перенесшие в тяжелой форме какие-нибудь детские болезни, скарлатину и так далее, когда они уже никого не заражали, ничего, но ослабли, вот их помещали... ну, вроде санатория такого. И, наконец, просто детская больница для различных неинфекционных больных детей тысячи на полторы, на тысячу семьсот так мест.

Затем в другом месте, опять-таки на опушке леса, небольшая туберкулезная больница. Что значит небольшая? На восемьсот коек. Но по сравнению с госпиталями и с детской небольшой, действительно. И затем огромная нервно-психиатрическая клиника на четыре тысячи что ли коек или пять тысяч, что-то в этом роде. Ну, по тогдашним временам это, конечно, огромное учреждение. Это целый большой участок земли с парком, с лесом, с лугами был занят. С одной стороны, по периферии, за пределами так называемой ограды располагались Landhaus'ы, такие что ли дачи, но каменные, кирпичные, значит, большие такие дома двухэтажные, в которых располагались в основном пьяницы. Это для алкоголиков, вот там лечили алкоголиков и отчасти других всяких, значит, пификов, которые... как они? Наркоманы что ли называются? Вот наркоманов различных.

Затем была ограда, внутри ограды еще ограда и затем за пределами этой общей ограды еще высокие такие стены — там патологические преступники всякие, психиатрические преступники помещались. Это было нечто среднее между тюрьмой и психиатрической клиникой. Но все это заведение на четыре — пять тысяч человек: наркоманы и патологические преступники, и огромное невропатологическое отделение, где, значит, не сумасшедшие, а всякие нервные болезни, всякие такие нервные параличи, всякие заболевания периферической нервной системы. И, наконец, психиатрическая большая клиника, где всякие шизики были, и шизофрения, и маниакально-депрессивные психозы... всякие психозы, какие полагается.

Так вот. Рядом с этим учреждением, как я сказал уже, за оградой этого учреждения, значит, по периферии, располагались Landhaus'ы. Вокруг каждого Landhaus'a была своя большая территория паркового типа. И вот один такой Landhaus городом был предоставлен нам, мене, то есть институту фогтовскому под мою лабораторию, пока там достраивалось.

А надо сказать, что с этими клиниками и больницами произошло следующее. Я опять немцев дразнил сравнением с нами...

Да, там, рядом, ну рядом, в километре расстояния было запланировано огромное кладбище и построена кладбищенская церковь под название капелла. Любопытная церковь, в которой служили все христианские религии. Покропят своей святой водицей и молятся: и католики, и реформаты, и лютеране, и кальвинисты, и даже изредка православные, когда там православных должны были хоронить. То есть это все так должно было быть. Был посажен замечательный кладбищенский парк. Там растений было высажено, аллеями такими разбито, как полагается, на старое кладбище и новое кладбище. Одним словом, аллеи были из всяких иноземных растений: там и американский клен, и дубы были высажены, и канадские ели и пихты, и сибирские кедры, и мамонтовые деревья, значит, калифорнийские — всякая всячина. И, конечно, сирень всякая, всякие кусты жасмина и сирени, черемухи и черте что. Все было замечательно сделано. Капелла вот эта выстроена огромная и по четырем углам пирамидальные тополя посажены, прямо как кипарисы.

А потом, когда все было сделано, пришла, значит, почвенно-контрольная комиссия, и оказалось, что слишком близко грунтовые воды, а по прусским законам покойникам в воде плавать не разрешается (*смеется*). Поэтому отменить. Никакого кладбища там нельзя устраивать, там, когда все эти миллионы потратили на такую замечательную штуку. Я немцев дразнил всегда, что у нас, конечно, кладбище стали бы устраивать там, где его можно устраивать, строили бы не так аккуратно и не так красиво и наворовали бы массу. Тут никто ничего всерьез не украл, все на ять было сделано, аккуратно, чистенько. Но пустячок не предусмотрели: что на этом месте кладбищу не положено по ихним же законам быть. Упустили мелочь. Вот. А у нас такого не бывает. У нас, так сказать, смотрят в корень, в буквальном смысле слова, ну, а при этом пользуется, кто, чем может. Вот. Так вот это кладбище вместе с капеллой и парком кладбищенским, в общем, около двадцати гектаров площадь, это было пожертвовано под наш институт Kaiser Wilhelm Institut, Kaiser Wilhelm Gesellschaft было пожертвовано городом Берлином.

Так как город Берлин ничего раздаривать не может, то это было формально, значит, в 1925 году как раз, когда я приехал, тогда это пожертвование состоялось, формально это было сдано городом Берлином в аренду Kaiser Wilhelm Gesellschaft. Как вы думаете, за сколько? За десять марок в год на сто лет. Во! И еще до войны 14-го года, году в 12-м, по-моему, в 11-м — 12-м году Бух, так как там уже функционировали все эти огромные городские клиники и больницы, стал частью Берлина. Берлин просто купил эту деревню Бух. Значит, было так вот: Берлин, потом не Берлин шел, а потом вот тут, пожалуйста, Бух. Вот Бух был островом Берлина за пределами Берлина. Мы на электричке ехали от *Stettiner Bahnhof* в Берлине до Буха по не берлинской земле, по полям всяким, лугам и перелескам некоторое количество километров, а потом въезжали в Бух, и это был опять Берлин.

Так что были в Бухе все выгоды столицы и прелести деревни, так сказать, загородного места. А за границей загородные места действительно обычно прелестные, особенно в Германии, потому что чисто, ничего не загажено, все в полном порядке и так далее. А вместе с тем в смысле снабжения, в смысле удобств все было как в лучших европейских столицах. Вот. И значит, в конце 28-го года мы переехали за год до окончания строительства нового здания в этот самый *Landhaus-fünf*, пятый особняк за пределами больницы. *Landhaus-fünf* наш был, а рядом *Landhaus-vier*. И мы назывались так: там профессионалы, там пьяницы лечить, а тут любители выпить. Там профессионалы, а тут любители. Вот.

И очень было выгодно, удобно. С большим удовольствием эти больницы нам поставляли так сказать низовую рабсилу. Полагалось, значит, и трудовое лечение, конечно, им, да им и выгодно было. Ведь все эти хроники, больные, особенно пьяницы всякие, значит, их лечили, лечили, и они могли, у кого профессия какая-нибудь была: сапожник или столяр и так далее. При этих огромных клиниках были всякие мастерские: и портновские, и сапожные, и столярные, всякие, и слесарные, так что там могли работать эти хроники всякие и немножко зарабатывать. Это приводило...



Так как в Германии, так сказать капиталистической, не социалистической, были самые социально передовые рабочие законы... Такого вообще безобразия по части рабочих законов, как у нас, я нигде в мире не видел.

Действительно, черт знает что, за что боролись, как говорится. Против сдельщины и так далее, а сейчас выжимают, стараются выжимать. Ну, наше население такое, что черт из него выжмешь, но... скажем, перевыполняют.

А рабочее законодательство в Германии было, действительно, чрезвычайно передовое, особенно больничные кассы для трудящихся и так далее, очень всё это было здорово поставлено и разумно. Мне не нужно было... Я получал жалованье больше, чем та граница, ниже которой обязан человек был состоять в больничной кассе, что совершенно разумно. Потому что ежели человек получает достаточно жалованья для того, чтобы лечиться на свой счет, на кой ему черт больничная касса. Так? Пусть лечится на свой счет. А кто мало зарабатывает, те обязаны были состоять в больничных кассах. По больничным кассам всякие хроники могли не долее одиннадцати месяцев лечиться, а потом прекращалось лечение. И ежели оказывалось, что они не долечены, они еще раз могли поступать на одиннадцать месяцев.

М.Р.: Это подряд? Непрерывно одиннадцать месяцев? Или в общей сложности?

Н.Т.-Р.: Месяц у них было испытание. Проверяли: как они — вылечены или не вылечены. Так вот. Эти самые больницы нам предоставляли за очень дешевую цену кофакторов так называемых, служителей. Вот какой-нибудь, значит, пьяница мог поступать к нам служителем, им полагалось работать не больше шести часов в сутки, служителем: убирал он, подметал, выносил, всякая такая штука. Ежели нужно было у нас какие-нибудь культуры разводить в грядках, он мог садовые работы неспециализированные выполнять и так далее. Вот такие кофакторы были очень удобная и полезная вещь. Мы там жили, во втором этаже этого *Landhaus'a*, мы, Царапкины. Да, я еще забыл, потом Царапкин в 26-м году приехал еще ко мне. Значит, был еще один сотрудник, затем Циммерман — мы все жили во втором этаже этого *Landhaus-fünf*. А в нижнем этаже были лаборатории. Помещений была масса.

Так вот, эти кофакторы, эти пьяницы-то, вообще, были очень хитрые люди. Они прекрасно, цивилизованно жили в этих *Landhaus'ax*, работали, зарабатывали. За год они, круглым счетом год, за одиннадцать месяцев, они зарабатывали все-таки, даже и на дешевых зарплатах (ведь они на всем готовом жили) некоторую сумму, пару сот марок, и затем через одиннадцать

месяцев они уходили, как они говорили, значит, в отпуск на месяц. Ну, от них требовалось только одно: оставить себе на конец отпуска достаточно денег для того, чтобы погулять «с крахом», так сказать. Несколько раз напиться, по возможности с повреждением дешевой мебели какой-то, с разбитием дешевой посуды и так далее, так, чтобы даже жена могла вызвать полицию, не боясь заплатить штраф. Потому что ежели без надобности полицию вызываешь, штраф платишь. Так? Вот.

И тогда составлялся протокол, что, значит, не долеченный. Не долеченные опять за счет больничных касс направлялись в свой Landhaus, опять, значит, поступали на работу. Так они и жили. Там были такие фокусники, которые чуть ни десять лет так жили уже. Значит, одиннадцать месяцев работали, месяц отпуска, в качестве богатого дядюшки к родным приезжали в отпуск, в конце отпуска назюзюкивались и поступали в долечивание.

Ну, когда в начале 30-х годов начали в Германии всякие вводить... экономии всяких государственных средств, то догадались и на этом начать экономить, и стали выгонять на волю этих самых якобы не долеченных пьяниц. Пьянствуйте на свой счет дальше и сами о себе заботьтесь! Вот у нас был такой Herr Матиас, кофактор, в лаборатории, симпатичный такой, пожилой уже мужик, очень аккуратный, все такое, говорит: «Да, Herr доктор, времена-то какие настали: вот сокращают, недавно лишних почтовых чиновников сократили. А сейчас и нас, алкоголиков, сокращать начали». Совершенно искренне: сокращают разные профессии и нас, алкоголиков, сокращать начали (*смеется*).

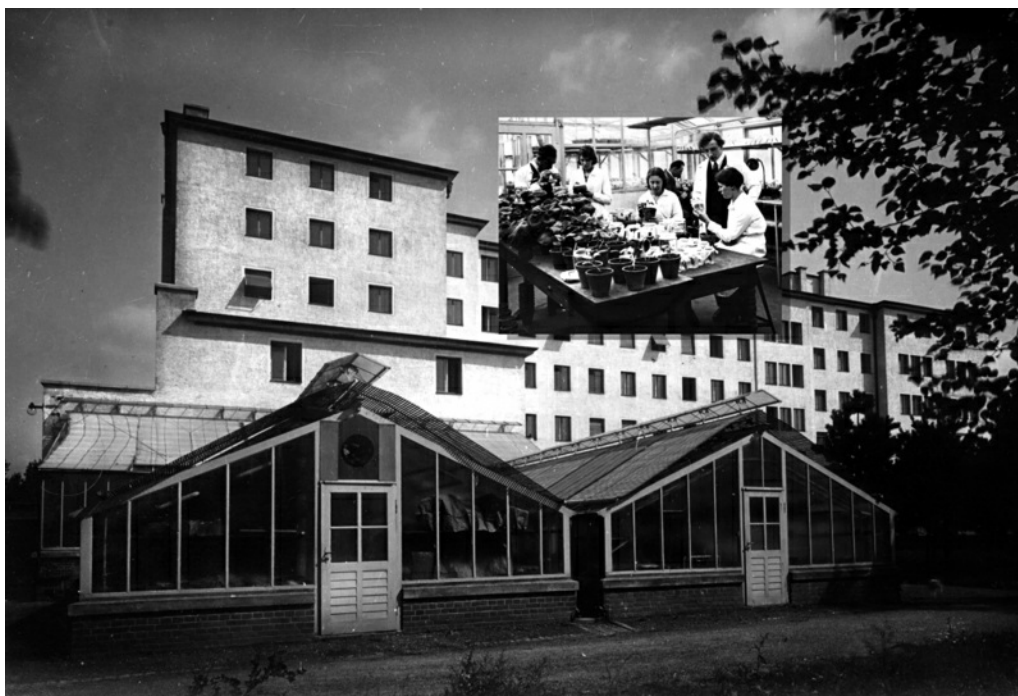
Так вот, переехали мы в Бух и один год жили там, так сказать, из нашего института одни совершенно. Остальные все лаборатории оставались в Берлине, в старом здании. А мы вот в этой... в особняке для любителей состояли, рядом с профессионалами, в Бухе уже. Глядели, как достраивают этот самый институт. Я наблюдал за тем, чтобы оранжереи мои были правильно построены. Дело в том, что при новом здании института в Бухе я заказал себе две специальных оранжереи для экспериментального разведения животных и растений. Это тогда, в те времена, в конце 20-х годов, не так-то уж часто встречалось и за границей. Это опять-таки было для меня весьма поучительно, и вместе с тем это для всех нас было интересно на будущее наше, меня и моих сотрудников, когда нам в других местах уже потом пришлось работать, опыт этот очень пригодился.

Строительство оранжерей

Происходило такое заказывание оранжерей следующим образом. Значит, мне ориентировочно было сообщено из Kaiser Wilhelm Gesellschaft какой суммой, так сказать, на какую сумму я мог рассчитывать для постройки этих оранжерей. И я решил так. Значит, шестизэтажное здание большое, такой длинный четырехугольник, шесть этажей, вот тут, у южной, короткой стены пристройка трехэтажная. В этой трехэтажной пристройке располагался мой отдел, очень большое помещение было. А к южной стене этой пристройки были пристроены две оранжереи, так и так, параллельно, с небольшим проходом между ними. Каждая оранжерея разделена на две части продольно. Вход из одной из комнат нижнего этажа этой трехэтажной пристройки. Дело происходило так.

Я себе набросал принципиальный план того, что я хочу иметь. Привлек к этому и Циммермана, и Райнига, и еще кое-кого, одного толкового ботаника из Дрездена. Значит, одна из этих оранжерей состояла просто из двух частей: первой половины и второй половины. Вторая оранжерея тоже из первой половины и второй половины. Но вторая половина была подразделена на восемь... посередине проходил коридорчик, а из него были входы, с каждой стороны в четыре таких отдела. Все это стеклянное. Причем это было задумано в качестве политермостата: значит, каждый отсек на разную температуру. Весь цимес был в том, что хотя было, значит, большое здание и еще два жилых дома и клиника небольшая построена, так что целая теплоцентраль была и отопление было, в общем, для целого комплекса зданий, но регулировка отопления этих оранжерей была своя, отдельная. Ее нужно было центрально из подвала отопительного этих оранжерей регулировать.

И мне, значит, нужно было, во-первых, такой политермостат: достаточная площадь для разведения в основном насекомых при разных температурах, но не в термостатном смысле, а немножко грубее: с плюс-минус полтора градуса Цельсия так была бы разница в температурах. Это вы что делаете? Рисуете оранжереи? А?



Оранжерея лаборатории, а потом отдела Н.В. Тимофеева-Ресовского, пристроенная к зданию Института кайзера Вильгельма в Берлин-Бухе. Вид снаружи и внутри

М.Р.: Я вас слушаю (*смеется*). Да.

Н.Т.-Р.: Так я могу вам на бумажке это все совершенно точно нарисовать потом. Значит, возможно точно должны были эти оранжереи держать круглый год более-менее постоянную температуру и должны были быть пригодны для трех целей: для массового разведения тыквенных растений, проростков тыквы в основном...

М.Р.: Это чтобы божьих коровок?..

Н.Т.-Р.: Чтобы кормить этой тыквой божьих коровок наших. Для разведения аквариумных рыбок в больших количествах и для разведения этих божьих коровок в больших количествах, в десятках и сотнях тысяч. Вот. И когда я все это распланировал, и мы договорились с моими сотрудниками, что вот то-то нам нужно, я обратился в три самых крупные немецкие оранжерейные фирмы с письмом, что я предполагаю для такого-то института построить в Бухе, в Берлин-Бухе, значит, спаренные две оранжереи специальные для разведения всякой всячины, мне нужной.

И дальше дело происходило так — вроде того, что называется конкурсом строительным. То, что раньше при постройке железных дорог, например, в России. Поставщикам устраивался конкурс: начальство железнодорожное, главный инженер всего управления, который строил новую дорогу, он составлял, значит, примерный проект того, что нужно выстроить. Этот проект размножался в нескольких экземплярах, и привлекались различные фирмы поставщиков, которые конкурировали: кто дешевле при выполнении определенных качественных и количественных условий. Ну, тоже самое, в течение одной недели у меня побывали представители всех этих трех фирм. Мы с ними позаседали. Они приехали уже с альбомами оранжерей, ими выстроенных, с примерными типовыми планами и проектами и всякой такой штукой. В конце концов, я договорился, к счастью (я этого даже не знал), собственно с самой лучшей фирмой Рёдера в Дрездене. Она мне показалась самой толковой. И я заключил, значит, контракт уже, вернее, за моей подписью, Kaiser Wilhelm Gesellschaft заключил контракт с этой фирмой Рёдер в Дрездене.

Это вот тут я помаленьку начал приучаться к советской, так сказать, жизни-то, что у нас вдруг только блох ловят. Значит, сколько мы времени, мы, научные работники, в частности я, обсуждали это дело, это наше собачье дело. Но, в общем, я потратил изрядное количество времени в течение одного месяца на всякие разговоры со всякими приятелями, со знакомыми учеными, с моими сотрудниками и на вычерчивание вот такого примитивного плана-предложения и условий. За неделю я выбрал из крупных фирм ту фирму, с которой я решил иметь дело, и договорился с этой фирмой. У меня три инженера этой фирмы просидели три дня в конце этой недели, в начале недели я из трех фирм выбрал одну — Рёдера. А последние три дня недели, значит, три инженера этой фирмы со всякими материалами у меня в Бухе просидели, мы чертили, рассуждали, всякая такая штука, и я заказал им уже рабочие чертежи. Заключил условия, и в течение недели они мне представили рабочие чертежи этих двух оранжерей. Значит, ушло у меня две недели на все это: одну неделю на рассуждения с фирмами и выбор фирмы, и одну неделю выбранная фирма представила окончательный проект. Ну, они опять-таки приехали ко мне. Мы посидели, кое-что там, пустячки уже, изменили, потому что мы договорились настолько хорошо, настолько хорошо друг друга понимали вообще, и сами они были заинтересованы, потому что для таких целей им впервые приходилось строить оранжереи. Это было за неделю все сделано.

Значит, вот имейте в виду: две недели времени. Затем, как вы думаете, сколько ушло времени до того, как мы вселились в эти оранжереи с нашими культурами тыквы и божьих коровок? Месяц. Месяц! У нас бы это полтора года продолжалось, то есть полтора года, я знаю: у меня на атомном объекте не полтора, а год значительно примитивней целый стройбат строил

мне по упрощенным буховским проектам, которые я на память, так сказать, восстановил. Две оранжерейки у меня было построено за год. А там месяц. И никакого стройбата не было, а было какое-то небольшое количество рабочих там. Всё. Сверху эти оранжереи имели водяное охлаждение, по стеклянным крышам и стенам этих оранжерей можно было пустить воду, вдоль, по коньку крыши шла труба и по бокам маленькие отверстия вот на таких расстояниях друг от друга, через которые спускалась холодная вода. И летом можно было на десять градусов, на десять-пятнадцать градусов снизить температуру таким образом. Это можно было при некоторой заботе, но это уже забота была моего садовника. Он же отоплением ведал, и он же охлаждением ведал. И, в общем, действительно, оказалось, что круглый год можно было. И так это шло, значит, с 28-го года. Я там проработал до 45-го — пятнадцать, семнадцать лет. Семнадцать лет безо всяких поправок, без ремонта, без никому проработали эти оранжереи, и до сих пор там работают.

Во как дела делаются, ежели попросту, а не с фокусами нашими. И я уж теперь забыл точные цифры, стоило это гроши совершенные, совершенно грошовое дело было. У нас такие оранжереи построить — это и в финансовом отношении немислимая вещь, и подготовка вся потребует двух-трех лет, и осуществление полтора года минимум. И потом, значит, надо начинать ремонтировать и устранять недоделки. Вот, это было, конечно, очень замечательно.

Значит, первые три года в Берлине, с лета 25-го до конца, до середины 28-го года, значит, раз, два, три — три года мы прожили в Берлине и проработали в Берлине. И там начали эти три направления, о которых я уже говорил. А затем год, нет, полтора года в Бухе, до конца 29-го года жили и работали в этом Landhaus-fünf и построили эти самые оранжереи, которые были готовы, между прочим, специально для нас из всего этого огромного здания. Капитальное строительство, на которое ушло год времени: шестизэтажный дом со всеми... по нашей просьбе, из-за наших оранжерей строители так строили: сперва построили южную стену трехэтажной пристройки, потом трехэтажную пристройку, а потом основной дом, потому что наши оранжереи были готовы еще до того, как начали строить основной дом.

И за это время я командировал Михаила Ивановича Клемма, про которого...

М.Р.: Добывать божьих коровок.

Н.Т.-Р.: ...я вам упоминал, в Грецию добывать живых эпиляхн. Он привез самый большой материал с острова Корфу и с материка, из нескольких популяций. И с тех пор у нас Корфу, популяция с острова Корфу стала печкой, от которой мы плясали, так сказать, основной исходный тип. Исходная форма эпиляхны у нас была эпиляхна с острова Корфу, с которой сравнивались, скрещивались и анализировались все другие популяции, которых потом у нас набралось.... Я вам вкратце уже упоминал: к концу этих работ, продолжавшихся семнадцать-восемнадцать лет, у нас были живые жуки из примерно полутораста мест Африки и Средиземноморья. Ну, опять-таки тут это невозможно устроить. Господи боже мой! Из-за одной секретности это абсолютно невозможно: чтобы жуки со всего ареала распространения, охватывающего два десятка стран, чтобы не засекретили! Это невозможно.

Так дело перешло в Бух. В 29-м году открыт был уже для работы весь институт, и весь Kaiser Wilhelm Institut переехал в Бух. Lindenberger weg, 71. Номер института был 71, но были на Lindenberger weg вначале где-то у станции Бух, по-моему, номера один, два, три, четыре, пять, потом никаких номеров не было, и в конце этой Lindenberger weg был номер 71 — институт. Вот.

Ежели разрешите, я на этом кончу. Выдохся к чертям собачьим!

М.Р.: Конечно! Спасибо большое!